

# Татьяна БУЛАТОВА

## *Большое сердце маленькой женщины*

Парадоксальность, ирония,  
трогательность и  
человеколюбие — все это  
причудливым образом  
переплетено в новой книге  
Татьяны Булатовой,  
повествующей  
об удивительных  
людях среди нас.  
**Мария Метлицкая**



Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой

Татьяна Булатова

**Большое сердце  
маленькой женщины**

«ЭКСМО»

2019

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Булатова Т.**

Большое сердце маленькой женщины / Т. Булатова — «Эксмо»,  
2019 — (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой)

ISBN 978-5-04-101402-5

«Эм и Же держали землю на вожже» — так старшеклассница Танька Егорова зарифмовала всем известную физическую формулу. Танька выросла, и стало ясно, что она как раз из тех людей, которые держат землю, не дают тем, кто стоит на грани, упасть в пропасть отчаяния и безнадежности. Обладала ли Танька Егорова экстрасенсорным даром? Да, безусловно. И использовала этот дар щедро, не щадя себя и не задумываясь, стоит ли так себя растрачивать. Дело в том, что был у нее и еще один дар — искренне любить людей. Именно эта любовь и давала ей большую силу. Танька держала землю, а земля держалась на ней — маленькой женщине с большим сердцем и редким даром.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-101402-5

© Булатова Т., 2019  
© Эксмо, 2019

## Содержание

Здравствуй, Танька	5
Конец ознакомительного фрагмента.	27

# Татьяна Булатова

## Большое сердце маленькой женщины

### Здравствуй, Танька

*Все события, описанные в этой книге, вымышлены, все совпадения случайны*

Что заставляет людей через тридцать лет встречаться с одноклассниками? Ответ прост: любопытство и тщеславие. К тому же тридцать лет – срок достаточный для того, чтобы мусорную пену с жизненных вод уже разметало и стало ясно, кто сколько сто́ит. Практика показывает, что в каждом классе свое соотношение плавающего по воде мусора и драгоценного жемчуга, упорно вызревающего в тесных раковинах жизненных обстоятельств.

Встречи выпускников, как правило, проходят по одному и тому же сценарию, и пишут его активисты-хроники, ради традиции готовые на все. Они, подобно вездеходам, методично продираются сквозь мощное сопротивление заезженных бытом одноклассников, досаждая им глупыми вопросами о том, какой день лучше, кого из учителей пригласить, с кем «из наших» есть возможность связаться и, наконец, «что пить будете»? Труд активистов невероятно тяжел, но, к сожалению, незаметен. Впрочем, они на благодарность и не рассчитывают – или почти не рассчитывают, – потому что каждый раз сталкиваются с одним и тем же вопросом: «Ну на фига ты это сделал(а)?» «Что *это*?» – смысл обвинения активистам всегда непонятен. «А вот что!» – отвечают одноклассники и, не умея выразить словами то, что их мучает, в сердцах машут рукой, чтобы уйти на очередные пять-десять лет в тотальную внутреннюю эмиграцию.

А ведь по большому счету этим активистам нужно сказать спасибо за то, что с их легкой руки в сознании человека начинался процесс активного развенчания накопленных в течение жизни заблуждений. Вот, например, одно из них: «*стареют все*». «Все... Но только не я», – думаешь ты и с сочувствием смотришь на них, состарившихся: и на привезенного в инвалидном кресле классного руководителя, и на ссохшуюся в девичестве географичку Галю, и на двоечника Иванова-Петрова-Сидорова, отрытого активистом в привокзальной рюмочной, и на Светку-Ленку-Томку, кутающихся в норковые манто вместо того, чтобы смело показать себя во всем великолепии... Смотришь ты, смотришь, а потом вдруг начинаешь нервничать, потому что ловишь на себе не менее жалостливый взгляд соседа(ки) по парте, сознательно накачивающегося(ейся) дешевым коньяком для того, чтобы подойти и смело сказать тебе в лицо: «Встретил(а) бы, не узнал(а)...» И вывод напрашивается сам собой, горький и неутешительный: ты тоже стареешь так же, как и *все*! Именно с этого момента и запускается механизм обрушения иллюзий, в результате которого оказывается... И понеслось! Оказывается, что троечники – прежде балласт класса – сегодня перспективные представители политической и экономической элиты города, а то и страны. А золотая медаль – вовсе не гарантия успеха, равно как и красный диплом, обладатели которого – среднестатистические бюджетники, считающие каждую копейку до зарплаты. И возраст, к сожалению, – это не повод, чтобы смерть была к тебе снисходительна. Ей, в сущности, все равно, кто перед ней – старик или юноша, отличник или двоечник. Она просто заглядывает в своей ежедневник, находит нужную фамилию и ставит жирный крестик, свидетельствующий о выполнении Божьего замысла. Только и всего! Поэтому нечего удивляться, что на очередной общей фотографии лиц становится все меньше, а похороны невольно превращаются в спонтанную встречу одноклассников, традиционно заканчивающуюся словами, что время безжалостно, а значит, давайте видаться чаще и, разумеется, по другому поводу.

«Давайте!» – клянутся оставшиеся в живых и бегут прочь – на работу, в семью, к друзьям, чтобы напомнить о своем существовании и убедиться – *я есть!* Но тем не менее каждый год нет-нет да посещает каждого наивная мысль о том, сколько лет прошло со дня окончания школы, и в преддверии круглых дат словно из-под земли вырастает фигура того самого активиста, который невольно оказывается причастен не только к очередному развенчанию иллюзий, но и к появлению гаденького чувства собственной значимости в обмен на откровения тех, кому ты всегда тайно завидовал. «Поделом!» – думаешь ты и даешь внутренний обет никогда, ни при каких обстоятельствах, ни ногой... Даешь и понимаешь, что не выполнишь внутренней клятвы и даже знаешь почему. Из любопытства, черт бы его подрал!

Отчасти из любопытства, а отчасти из-за желания угоститься, не заплатив ни копейки, Илья Русецкий, по кличке Рузвельт, когда-то знаменитый легкоатлет и победитель Всероссийских олимпиад чуть ли не по всем предметам, пришел на встречу выпускников спустя тридцать два года с момента окончания школы, ничуть не заботясь о том, что не имеет за душой никаких реальных достижений, свидетельствующих о жизненном успехе. Гордыни в нем не было, а если таковая когда-то и присутствовала в его многогранной личности, то количество выпитого за все предыдущие годы все равно привело бы к девальвации стойких жизненных стереотипов.

«В конце концов, какая разница, где проводить время?!» – рассуждал Рузвельт и был абсолютно прав, потому что знал, о чем говорил. Это раньше он имел возможность выбирать между читальным залом городской библиотеки и общей кухней в квартире с подселением, где Илья оказался в результате сложного и многофазного родственного обмена, а сейчас – увы! – выбирать стало не из чего: сырой заплесневелый подвал, облюбованный местными бомжами, сменился предбанником маленького хлебного магазина, где Рузвельт с достоинством пророка поджидал одиноких старух с предложением донести до дома тяжелую ношу. Время от времени, реагируя на жалобы забредших со стороны покупателей, к Илье выбегала чернявая заведующая и, морща усики над верхней губой, грозилась сдать попрошайку властям. В ответ Рузвельт кланялся знойной женщине в пояс и басом семинариста произносил: «Да святится имя твое!» Магия этой фразы обрушивала на заведующую истинную благодать, и сердце ее начинало трепетать от христианской любви к юродивым.

Блаженного Рузвельта окружающие любили. Алкоголиком он был мирным, позиционировал себя как аристократа духа, много цитировал и вполне мог заткнуть за пояс какого-нибудь профессора из местного университета, снисходительно посматривавшего на интеллигентного вида пьяницу с «Божественной комедией» Данте в руках. Любовь к чтению расцветивала жизнь Ильи яркими красками, он даже всерьез подумывал, не уйти ли ему в монастырь, чтобы читать там, запершись в келье, но вовремя оставил эту затею, потому что догадался: читать в монастыре ему придется совершенно иную литературу. «Потом!» – пообещал себе Рузвельт и обернулся лицом к миру, изобилующему интересными мгновениями, ради которых, безусловно, стоило жить. Правда, изредка вставал вопрос: «На что?» Но и здесь Илью не покидала уверенность, что все сложится как нельзя лучше – от работы он не отказывался, к людям был добр, и они платили ему сторицей: отдавали поношенную, но вполне хорошо сохранившуюся одежду, угощали по-соседски пирогами, наливали по большим праздникам, делились пивом и так далее. В общем, Рузвельт на жизнь не жаловался, скорее, наоборот, считал ее вполне удавшейся хотя бы потому, что был принят в любой компании: шпана звала его «профессором», а глава района, помнивший его еще по школе, уважительно – «диссидентом». Но Русецкий не был ни тем, ни другим. Он был просто философом, отказавшимся верить в какое-либо целеполагание и ссылавшимся то на Гесиода, то на Гераклита, то на Шопенгауэра и Ницше, но при этом не разделявшим до конца взгляды никого из них.

«Философский пессимизм есть обратная сторона философского оптимизма», – декларировал Илья и наивно полагал, что сформулировал главный закон гармонии, гласящий, что у жизни две стороны, а значит, вся она есть системная смена знаков, наложение которых друг на

друга дает изящный нуль. Посему все чаяния и усилия человеческие сами по себе интересны в некой условной временной точке – здесь и сейчас, а на перспективу – абсолютно бессмысленны. Отсюда закономерный вопрос: *зачем?* Видимо, в определенный период своей жизни Рузвельт не сумел найти на него исчерпывающего ответа и объявил вне закона все, что прежде считал заслуживающим внимания. В итоге под запрет попали не только многочисленные призы, награды, грамоты, свидетельствующие о сверхдостижениях городского вундеркинда, но также и высшее образование, карьера, семья.

Кстати, о высшем образовании. Получить его Русецкий пытался неоднократно. Правда, не в области точных наук, как ему прочили по окончании школы, а в сфере тонкого гуманитарного знания, и не в столице, а в местном педагогическом институте. Там, на историко-филологическом факультете, Илья снискал себе славу самого одаренного студента, но... к сожалению, не от мира сего, если не сказать больше. Никаким другим обстоятельством объяснить неспособность Русецкого сдать целиком хотя бы одну сессию преподаватели были не в состоянии. Поначалу они из гуманных соображений давали Илье возможность проявить себя на разных отделениях: хочешь – история, хочешь – филология, хочешь – очное, хочешь – заочное, а потом призадумались и решили Русецкого в студенческих правах не восстанавливать и просто забыть, что был такой, с лицом семинариста, долговязый и неопрятный, при общении с которым почему-то возникало неприятное ощущение, что именно он, он, а не ты должен находиться за кафедрой и двигать вперед науку.

Принявший преподавательский заговор за подсказку судьбы, Илья вновь озаботился вопросом: «Зачем все это?» и с энтузиазмом продолжил развивать свою теорию «изящного нуля».

Новых взглядов Русецкого окружение не приняло. Очень быстро ушла из жизни мать, неожиданно утратившая смысл своего существования, прежде связанный исключительно с открывающимися перед Ильей перспективами. Она даже не болела по-настоящему, просто легла, что-то там такое в уме сложила, получила ноль и отказалась разговаривать. Да сын и не настаивал, он как никто другой понимал: молчание – золото. Соседи решили: сошла с ума. Но Илья так не думал и просто выполнял задачи категории «здесь и сейчас»: мыл, убирал, готовил, включал-выключал радиоприемник, читал матери вслух и не задавал лишних вопросов. Потом вмешались какие-то дальние родственники, стали предлагать помощь, уговаривали лечь в больницу, но мать словно не понимала, чего от нее хотят. Жалко было терять время на чужих людей. Чтобы ушли, Илья подписал какие-то бумаги. Даже не спросил какие. Просто поверил, что так нужно, и все.

Утром матери не стало – слова утратили смысл окончательно. Илья не видел ее агонии, ушла она тихо, не исключено, что во сне. «Как на цыпочках», – улыбнувшись, подумал Рузвельт и попробовал пройти по комнате на носочках. В тишине скрипнули доски, звук получился смешной и какой-то детский. Так, на цыпочках, Илья проходил все три дня до погребения, и никто этого не заметил. Просто некоторым показалось, что из-за худобы Рузвельт стал казаться выше ростом.

Какое-то время после ухода матери Илья производил впечатление человека, переживавшего экзистенциальный кризис. Но на самом деле он просто привыкал к новым условиям жизни в «комнате без одной стены». «Раструб моих возможностей стал гораздо шире, – пока еще пытался объяснять он преимущества своего положения. – Я вижу гораздо больше, чем вы все, вместе взятые, потому что ни к чему не привязан». Илья был уверен, что все, им сказанное, абсолютно прозрачно. Но никто не понимал истинного смысла того, что произносил Рузвельт. Одноклассники посматривали на него с опаской и недоверием, многозначительно переглядывались, вспоминали классическое «горе от ума» и постепенно рассеивались в пространстве: никто не хотел жить «в комнате без одной стены», каждому хотелось чувствовать себя защищенным и социально значимым. К слову, Илья даже не заметил, как поменялось

его окружение. Он словно не распознавал лица: всякий, встретившийся ему на пути, казался хорошим человеком, достойным доброго отношения и доверительного разговора. И не важно, где этот разговор состоится, в холоде медвытрезвителя или возле пивного ларька. Илья всюду ощущал себя избранным, в то время как свидетели его бывшего величия видели перед собой психически нездорового человека.

«Гений...» – пожимали они плечами и насмешливо посматривали на тех, кто пытался объяснить метаморфозу Русецкого превращениями судьбы. Что же на самом деле произошло с Ильей, не знал никто, в том числе и он сам, и все его слова про расширение сознания, рас-  
труб возможностей, жизнь в «комнате без одной стены» и тому подобное не объясняли ровным счетом ничего. Ну ничегошеньки! Просто был Рузвельт *до* и Рузвельт *после*, и о том, как чувствовал себя Первый, Второй, разумеется, ничего не помнил. А ведь что-то было, что-то такое неуловимое, изредка являвшееся Илье по ночам. Показывали почему-то всегда одно и то же: бегущая от школьного крыльца узкая асфальтированная дорожка, обрамленная пенными кустами сирени, женщина, по виду знакомая, со скуластым лицом и раскосыми глазами, похожими на две перевернутые запятые... В момент, когда она появлялась, немело правое плечо и в животе становилось холодно. Иногда в сон встраивался еще один фрагмент: белым зигзагом сиял просвет между старыми тополями. При виде его сердце Рузвельта начинало учащенно биться даже во сне и билось до тех пор, пока в этом просвете не возникала крошечная женская фигурка. Потом отпускало. И утром Илья просыпался с радостным чувством, что снова говорил с ней, с Танькой, Танькой Егоровой.

Последний раз Рузвельт виделся со своей соседкой по парте в день вручения аттестатов о неполном среднем образовании, то есть после восьмого класса. Жара стояла страшная, июнь был испепеляюще огненным. Кто-то предложил спуститься к реке, от школы было недалеко, минут двадцать, если прямо через сады, но Танька воспротивилась и сказала, что, пока не занесет аттестат домой, и шагу не сделает. Уговаривать Егу, так между собой называли ее ребята, было бесполезно: слову своему Танька не изменяла ни при каких обстоятельствах. Именно это в ней Рузвельту и нравилось: с Танькой было приятно иметь дело. Она никогда не кокетничала, всегда говорила, глядя прямо в глаза, была легка на подъем и умела держать язык за зубами. С Егоровой хотелось дружить, любить Таньку было просто невозможно. Для этого существовали другие девочки – томные, медлительные, церемонные и не очень, таких тоже хватало. Одним словом, Егорова не вписывалась ни в один женский отряд и общалась все больше с мальчишками. И хотя для них Танька была своей в доску, в ее присутствии никто и подумать не мог о том, чтобы браво и «по-взрослому» выругаться матом. Это было элементарно опасно: Егорова долго не думала, просто наотмашь лепила то затрещину, то пощечину. И ничего ей за это не было, потому что Ега – это Ега, и вообще – не дай бог!

Таньку к Рузвельту посадили в седьмом классе как неуспевающую по физике. Илье было не жалко: он легко делился всем, что знал, и никогда не утверждал интеллектуального превосходства над другими. Егорова, надо сказать, показалась Русецкому немного туповатой, но он с воодушевлением взялся за дело, и вскоре шефство приобрело вполне конструктивный характер. Занимались после уроков, в школьной библиотеке, где и выяснилось, что Танька не просто сообразительна, а буквально все схватывает на лету. Физику она осваивала с удивительной скоростью. Ега проглатывала параграфы с опережением на два, а то и на три, но стоило ей переместиться из библиотеки в класс, как она замыкалась и словно переставала соображать.

– Что с тобой? – шипел ей в ухо недоумевающий Рузвельт, но в ответ слышал всегда одно и то же:

– Смотреть страшно.

Этого Илья никак понять не мог. Танька, с готовностью влезающая и в огонь, и в воду, и в медные трубы, вдруг превращалась в серую унылую мышку, вздрагивающую от любого громкого звука. Она даже внешне становилась похожей на мелкого грызуна: голова втягивалась в



плечи, треугольный подбородок впивался в грудь, на затылке упрямо торчали два непокорных завитка... Того и гляди – пискнет и выскользнет из класса. «Ничего не понимаю», – бормотал Русецкий и отступался: ужас в Танькиных глазах был неподдельный. Настоящий был ужас, он это чувствовал: зрачки ее расширялись и почти сливались с потемневшей радужкой, отчего глаза превращались в глубокие черные дыры на побледневшем лице. Ни разу Егорова не попыталась объяснить Рузвельту, что происходит: она просто уходила после физики из школы, слонялась по городу, пряталась в парке, а потом, успокоившись, шла домой. Пару раз Илья бродил вместе с ней, отмечая, как постепенно оживает Танька, ее лицо, как походка вновь становится легкой и стремительной. Егорова не прогоняла Русецкого, но и не выказывала удовольствия от соседства с ним. Это было понятно по тому, как она пропускала мимо ушей все его вопросы, в том числе и самые элементарные, ответить на которые можно было одним «да» или «нет». Осознав, что Таньке важно побыть одной, Илья отступился, а потом все разрешилось само собой: в конце третьей четверти физику отменили в связи с болезнью преподавателя. Пока искали замену, прошло несколько недель, а потом рядом с расписанием появился портрет учителя в черной рамке. Все девчонки, обратил тогда внимание Рузвельт, плакали, некоторые даже в голос, и только Егорова стояла, плотно сжав губы, и лицо ее было сосредоточенно спокойным, словно она знала о смерти учителя еще вчера.

Итоговую контрольную Танька написала на твердую пятерку и, довольно ткнув Русецкого в бок, заявила: «Должна, что ли, буду?» «Сочтемся», – хотел было ответить Илья, но не смог: Егорова была какая-то другая, не такая, как раньше. Выросла, что ли? Да, нет, все так же – ниже плеча, на пацанку похожа, кожа смуглая, изнутри светится, словно солнцем отлакирована, два завитка торчат на макушке... Рузвельт смутился, а Танька и в ус не дует: ей все нипочем.

– Ты летом где? – выдавил Илья, глядя поверх егоровской головы.

– Как обычно, – щедро улыбнулась та, не сказав ничего конкретного. – А ты?

– Не думал еще, – брякнул Рузвельт первое, что пришло в голову, хотя прекрасно знал, что его ждет, но зачем-то нагнал таинственности. А все потому, что находиться рядом с Танькой вдруг стало невыносимо, захотелось то ли самому провалиться сквозь землю, то ли ее убрать с глаз долой... В общем, разговора между ними тогда не получилось. Не состоялся он и в следующем году – Русецкий пересел на заднюю парту, занятия физикой прекратились, и Егорова по старой дружбе объявила Илье, что после восьмого уйдет в техникум. В какой именно, он узнал, когда Танька присоединилась к теперь уже бывшим одноклассникам, расположившимся на берегу. Чувствуя себя в мужской компании как рыба в воде, она без стеснения стянула сарафан и уселась на горячий песок спиной к товарищам. Но никто, кроме Ильи, не заметил на ее плечах глубоких ямочек. Егорова и Егорова, все как обычно. Больше Рузвельт в сторону Таньки не смотрел. Он ее вообще больше не видел, хотя они и жили в одном районе.

Вероятность, что Танька явится на встречу выпускников спустя тридцать два года, была нулевой. Да и, честно сказать, о встрече с Егоровой Рузвельт и не помышлял. Он вообще, можно сказать, о ней не помнил, и одноклассники ему особо нужны не были, как и он им. Но разве это повод отказываться от нечаянно свалившейся на голову радости? Отнюдь. Спасибо, что позвали, можно сказать, жизнь продлили еще на день, а то и на два... Благодарность, по мнению Ильи Русецкого, была чувством высоким, свидетельствующим о душевной зрелости, мудрости, так сказать... Дальше мысли Рузвельта свою стройность теряли и разбегались, как тараканы от включенного света, в разные стороны. Ни за одной не угонишься. Да и не надо! Не зря же сказано: «Мысль изреченная есть ложь». Хочешь обесценить прекрасное – найди ему имя, произнеси слово. «Слова все убивают! – подытожил Рузвельт и тут же подобрал контраргумент: – Но они же и дают жизнь». Илье стало легче: система работала – жажда и горечь сегодняшнего утра обернутся вечером влагой и сладостью. Все будет и все исчезнет, Рузвельт с азартом оратора формулировал тезис за тезисом, не вставая с кровати: так он не просто берег силы, но и боролся с тяжелейшим похмельем. Илья знал про алкоголизм все, с энциклопеди-

ческой точностью умел соотнести свои ощущения с описанным в учебниках абстинентным синдромом. Иногда Рузвельт даже осмеливался предположить, что его любовь к антиномиям специалисты из наркологического диспансера, где он числился «в своих», могут расценить как косвенный признак делирия. Но кто, как не Илья, с легкостью мог опрокинуть все с ног на голову? Сделать очевидное неочевидным? Черное – белым? Единственное, чего не удавалось сделать Русецкому, так это приравнять один час ожидания одной минуте: время подчиняться отказывалось. Но Рузвельт верил в неограниченные возможности своего разума и подозревал, что рано или поздно сможет приручить время, а пока этого не произошло, будут работать приемы, призванные сократить ожидание. В запасе у Ильи было их несколько, и пользовался он ими алгоритмически: если условия не удовлетворяли пункту А, приходилось плавно переходить к Б, потом – к В, а дальше цепочка операций строилась в зависимости от тяжести алкогольного опьянения. Чем выше оказывался градус принятого, тем проще становилось управлять временем, а точнее – вообще исчезала такая необходимость. Ни в каком управлении необходимости не было. Время просто переставало существовать: жизнь становилась атемпоральной, как в раю – всегда лето. «Но где рай, а где мы, грешные», – вздыхал Рузвельт и брал в руки Данте, наивно полагая, что приобщение к великой комедии облегчит его страдания. И опять же – был гениальный итальянец капризным до невозможности: не всякий раз удавалось добрести до Чистилища. То терцины путались, перескакивая с места на место, то буквы начинали расплываться, и приходилось читать по памяти, а память порой Илье отказывала... И вообще не исключено, что ему просто уже требовались очки для чтения. Но по идейным соображениям Русецкий от них отказывался, считая, что хитрая оптика сужает сознание и делает зрячего слепым.

Дальше наступал сон, который, кстати, был не менее капризен, чем Данте: никогда не приходил вовремя и являлся всегда неожиданно, оборвав размышления на каком-нибудь важном месте. Но Рузвельт не унывал и, зная эту хитрую особенность сновидений, всегда держал под рукой карандаш, чтобы записать на газете или обоях ту или иную значимую мысль. Как правило, зафиксировать ее в полном объеме не получалось, так, какие-то отрывки, что, впрочем, Илью несколько не смущало. К оборванным фразам он относился с трепетом, потому что верил в уникальные возможности человеческого мозга, способного развить фразу из крошечного зародыша буквы. И еще – Рузвельт не доверял письменным формулировкам полного типа, они, по его мнению, обесценивали смысл сказанного. А вот был ли он, это вопрос второй. И разрешить его никогда не удавалось, потому что во сне значение имеет абсолютно все, даже то, что в реальности не удержит вашего внимания. Вот почему к сновидениям Ильи относился как к походам в кино и даже пытался медитировать для того, чтобы научиться вызывать это состояние в любой момент. Однако медитация в условиях абстинентного синдрома – мероприятие практически безнадежное. И дело не в головокружениях и не в головной боли, а в поразительном ощущении: тебе кажется, что внутри твоего тела марширует отряд барабанщиков, и от их непрекращающейся барабанной дроби каждая клеточка организма пульсирует в собственном ритме и с такой скоростью, что недалеко до самовозгорания. И чтобы оно не произошло, приходилось сползать с кровати и куда-то идти, к кому-то стучаться, чтобы помогли, кто чем может – корвалолом бы накапали или еще чего-нибудь спиртосодержащего. И Бог был к Русецкому милостив, и в подъезде обязательно оказывалась хотя бы одна живая душа, и она не грозила вызвать милицию и, оставив входную дверь открытой, бесстрашно шла за эликсиром жизни...

В назначенный для встречи с одноклассниками день Рузвельт уже успел пройтись по подъезду и спастись трижды. Подобно Фениксу, он возрождался на каждой лестничной клетке в обмен на обещания служить верой и правдой. Сердобольные бабушки охотно верили Илюше, видя в нем местного блаженного, ко гробу которого, предсказывали они, когда-нибудь потекут толпы людские в надежде на исцеление. Ни о чем подобном Илья, разумеется, не догадывался и свято верил в общее человеколюбие русского народа. Причем русскими он называл всех, кто

в той или иной форме мог изъясняться на его родном языке. Русским для него был Фарид Фиолетович, его мать Вагиза, богомольная татарка в вечном платке, русскими же чертами была наделена Эсфирь Борисовна, породистая еврейка с незамужней дочерью, соседи снизу, сверху, соседи по квартире – луговые марийцы, перебравшиеся в его город из Йошкар-Олы. Он и американца мог бы с легкостью назвать русским, потому что данное слово никогда не имело закреплённого национального значения, в сознании Рузвельта «русские люди» означало «хорошие люди вообще».

Войдя в резонанс с энергией человеколюбия, Илья начал готовиться к вечернему походу: сил было еще не очень много, но все же они были. Их вполне хватило на то, чтобы выстирать под краном чуть тронутую сединой русую бороду, почистить доставшиеся в наследство от сбежавшего мужа заведующей хлебным магазином вельветовые брюки, найти галстук, который ему не понадобился, потому что не нашлось ни одной чистой рубашки. А потом силы закончились, но и нужды в них не было: с успокоенным сердцем Русецкий прилег на кровать в предвкушении сна. Вместо него на Илью опустилась легкая дрема, и от этого стало по-особому радостно: Рузвельт заскользил по волнам своей памяти, перебирая, как четки, строки любимых книг, среди которых чаще всего звучало дантовское «Казалось, ад с презреньем озирает». С ним на устах Илья погрузился в фазу глубокого сна и вынырнул из нее, когда на улице стемнело. Русецкий любил это время и сравнивал его с кулаком фокусника, из которого один за другим «вылупляются» разноцветные шарики, выстреливают бумажные растрепанные цветы и змеями выются связанные друг с другом шелковые платочки. Потянувшись, он замер в ожидании: с темнотой приходило счастье, оживало измученное утренним похмельем тело и можно было рассчитывать на удачу, потому что мир милостив и щедр, не случайно Илья искренне считал себя везунчиком. И это ощущение какой-то особой фартовости служило ему своеобразным оберегом, благодаря которому он никогда не терял уверенности в завтрашнем дне и в том, что тот обязательно наступит. Более того, ничем другим просто нельзя было объяснить беспрецедентный оптимизм Русецкого, позволяющий ему с легкостью переносить многочисленные побои, падения, травмы, приведшие к ранней хромоте и практически полному отсутствию зубов, которое не скрывала даже благообразная борода. «Зато на полку класть нечего», – нашел небольшой плюс там, где его не было, Рузвельт и направился на встречу с бывшими одноклассниками.

Место, где она должна была состояться, Илья знал не понаслышке и дорогу к нему мог преодолеть буквально с закрытыми глазами. Кстати, очень часто так и происходило: ноги словно сами несли его к обетованному пределу, прозванному «реанимацией». На самом же деле название кафе носило пафосное и емкое – «Мемория». Подходило и для свадеб, и для встреч одноклассников, и, разумеется, поминок. Последние Русецкий ждал с воодушевлением новобрачного: на скорбных обедах наливали всякому, такая традиция, а русский народ традиции уважал, особенно по отношению к покойным – так сказать, в последний путь и с легким сердцем.

У дверей единственного, а потому многофункционального кафе с громким названием уже толпились разгоряченные курильщики, моментально принявшие Илью в свое мужское братство под нарочито радостный возглас активиста: «А вот и наш Рузвельт!». И тогда каждый из присутствующих заторопился похлопать «нашего Рузвельта» по острому плечу, пожать его длиннопалую узловатую руку, выказывая абсолютную лояльность к неудачнику и внутренне радуясь тому, что сам-то – «точно не Рузвельт».

Мужественно выдержав снисходительно-благородный натиск бывших одноклассников, Илья попытался войти в кафе, чтобы как можно быстрее восстановить утраченный со вчерашнего дня внутренний баланс, но его все не отпускали и не отпускали, назойливо предлагая выкурить «еще по одной», не понимая, почему тот отказывается – «ведь на халяву же». Наконец Русецкий прорвался и оказался в упоительном тепле и нежном полумраке.

Подскочил активист, захлопотал, замурыкал и повел Илью к столу на заранее отведенное место, бодро приговаривая: «Сейчас поправишься, повеселеешь». И Рузвельт решил не церемониться, нащупал дрожащими пальцами винтовую пробку, отвернул, пару раз булькнул, и процесс возвращения к жизни пошел невиданными темпами. Настолько невиданными, что к середине вечера в теле появилась легкость необыкновенная, а душа воспарила, ликуя. И что особенно ценно: все словно забыли о нем, приклеившемся к краю стола, осоловевшем в тепле и шутившемся от разноцветных огоньков светомузыки. Все, да не все, как выяснилось. Вечер уже почти заканчивался, когда к Илье под села небольшого роста женщина со взбитыми на затылке черными волосами, с расплывшимся по темному, словно лакированному лицу носом, острым подбородком и удивительно знакомым прищуром. Она буравила Рузвельта глазами, не произнося ни слова. Дождавшись, когда взгляд Русецкого приобрел некоторую осмысленность и сфокусировался на ней, женщина спросила:

– Узнаешь?

Этот задорный голос Ильи точно где-то слышал, только вот где – никак вспомнить не получалось.

– Узнаю, – на всякий случай, чтобы не попасть впросак, подтвердил Русецкий.

– Ниче ты не узнаешь, – сказала женщина и заговорщицки произнесла: – Эм и Же держали землю на вожже!

Такое произнести могла только Егорова. Только Егорова зарифмовывала формулы для того, чтобы их запомнить, а подчас и понять. И эту «вожжу», вспомнил Илья, они придумали вместе, сидя в библиотеке, умирая со смеху, потому что иначе у Таньки ничего не клеилось, формула просто не подчинялась ей, если Егорова не умудрялась сделать ее простой и очевидной, как мир, как вода, хлеб, солнце и мама.

– Ты? – Рузвельт просто не смог выговорить ее имя.

– Я, – подтвердила Танька и утопила подбородок в ладонях, опершись локтями о стол (еще один фирменный жест Егоровой, способный передавать ее психологическое состояние. И сейчас, понял Илья, ей было грустно): – Постарела?

– Что ты! Нет, конечно, – с воодушевлением начал было Рузвельт, но Танька не дала ему договорить:

– Только не ври, терпеть этого не могу!

Она действительно сильно изменилась. «Сколько нам лет?» – озадачился Русецкий, лихо радочно пытаясь осуществить несложный, в сущности, расчет. Вырисовывалась цифра сорок семь, потом – сорок восемь. Танька – январская, в школу пошла с полных семи, как и он. «Сорок восемь», – повторил про себя Илья, но сама цифра для него ровным счетом ничего не значила. Разумеется, не двадцать, но как должна выглядеть женщина в сорок восемь лет, Рузвельт не понимал. Его мать ушла где-то в сорок пять, но уже тогда она казалась ему почти пожилым человеком.

– Ну... – Егорова потребовала, чтобы Илья хоть как-то отреагировал, но он не мог вымолвить ни слова и просто, как дурак, блаженно улыбался, глядя на нее. – И чё ты лыбишься? – Танька была, как и прежде, немного грубовата.

– Даже не знаю, что сказать, – растерянно пожал плечами Русецкий.

– Тогда зачем звал?

– Я?

– Ты, – подтвердила Егорова, а Илье показалось, что и правда звал, просто забыл: такое бывает.

На этом разговор расстроился, но Танька с места не двигалась и по-прежнему без всякого смущения разглядывала Илью. Он поежился и беспомощно завертел головой. Невзирая на стойкий иммунитет к чужому любопытству, даже ему чувствовать себя личинкой под микроскопом было не особо приятно.

– Чё крутишься, как вошь на гребешке?! – ухмыльнулась Егорова. – Им не до тебя.

И правда не до него. На минуту показалось, что их с Танькой отделяет от одноклассников прозрачная стена, за которой царило веселье, грохотала музыка и в вульгарном танце дергались человеческие силуэты... А здесь все было спокойно. И все же спокойно не было, потому что атмосфера вокруг них была наполнена каким-то удивительным напряжением, выразившимся в особой проводимости мыслей от одного к другому. И это при том, что оба не произнесли ничего значимого. Тем не менее значимым было все, и Русецкий со стопроцентным попаданием понимал, *что* она ему «говорит» и *что* нужно делать прямо сейчас.

Ухода бородатого неудачника Ильи и непонятно откуда всплывшей Егоровой, о которой, собственно говоря, забыли сразу же, как только она покинула школу в возрасте пятнадцати лет, действительно никто из присутствующих не заметил. Ну, может быть, только активист, по-хозяйски осматривающий зал, да и тот тут же запамятовал, настолько незначимыми были в его понимании люди. И пока продолжались праздничные конвульсии их одноклассников, эти двое тихо брели по направлению к школе, когда-то связавшей их. Сначала шли молча. Потом Русецкий все же решился задать вопрос, как сложилась Танькина жизнь.

– Да как у всех. – Егорова была немногословна. – Твоя как?

– Как видишь, – смутился Рузвельт, впервые за столько лет пожалевший о том, что рассказывать, собственно говоря, нечего. Одни прочерки в анкете: не был, не состоял, не привлекался, не родил, не придумал, не имел... Он хотел было поделиться с Танькой своими философскими открытиями, но не успел – та громко зевнула. Очень громко, уродливо раззявив рот.

– Не выпалась?

– Выспа-а-а-а... – начала отвечать Егорова, но выговорить до конца не сумела – рот снова перекосило в зевоте. Это было странно, даже для Рузвельта, никогда не судившего о людях по их манерам. Однако как человек начитанный он не мог не знать, что зевота – это физиологическое явление, которое может служить признаком как нехватки кислорода, так и психологического сопротивления, часто вызванного отсутствием интереса к собеседнику. Последнее почему-то задевало, хотя о каком интересе может идти речь, если они расстались тридцать два года тому назад? «Наоборот, – расстроился Илья, – наоборот, должно быть интересно... – И тут же сам себе возразил: – Да с какой стати?!»

Между тем Егорова начала зевать безостановочно, что выглядело просто чудовишно: лицо ее корежилось, из глаз текли слезы, а вместе с ними и краска. Танька стала похожа на истерзанного гнома, с трубным звуком разевающего рот.

– Тебе нехорошо?

– Норма-а-а-а-а... – Егорова не смогла выговорить слово полностью и стащила с себя белый норковый берет.

– Жарко? – сочувственно поинтересовался Рузвельт, но, увидев над Танькиным лбом мокрые слипшиеся пряди, тут же по-отечески строго произнес: – Надень, простудишься.

И Егорова тут же послушалась и нацепила на голову берет, причем сделала это без всякого кокетства, как бог на душу положит. Норковый берет и Танькино далекое от аристократизма лицо не очень-то уживались друг с другом, это было заметно даже Илье, не сумевшему сдержать улыбку.

– Вот чё ты ржешь? – возмутилась Егорова. – Чё смешного-то?

– Ты на эскимоса похожа, – признался Русецкий и аккуратно поправил берет: – Вот так особенно.

– Сам ты эскимос, – проворчала Танька и снова зевнула, но уже не так глубоко. – Ничё не чувствуешь? – заговорила она странно, вроде как по-старинному.

– Погода прекрасная.

Ответ Егорову явно не удовлетворил:

– А сам-то как? Ничё не чувствуешь? Ничё, ничё?

Илья не знал, что ответить. Вечер и правда был прекрасен: снег падал медленно, словно раздумывая, нежно светили фонари, Танька – рядом... Говорит, правда, как старая бабушка, хотя раньше вроде бы с речью у нее все было в порядке... Или он просто не замечал этих «чё», «ничё»? «Так замечал или не замечал?» – озадачился Рузвельт и пустился было по волнам памяти, но далеко уплыть не успел – Егорова дернула его за рукав:

– Ты давай не мякни! Не мякни. Далеко до дома-то?

– А ты что, меня провожать собралась? – хмыкнул в бороду Русецкий и остановился: – Я ведь, Танюша, сейчас в другом месте живу, не там, где раньше. Далеко.

– Не далече далека, – пробормотала Егорова и взяла Илью под руку так решительно, что тому показалось – бежать бесполезно, да и не хотелось. Русецкому нравилось все, а больше всего – разлившаяся внутри него самого истома, такая нежащая слабость, из-за которой не хотелось двигаться, а хотелось присесть на первую попавшуюся скамейку, чтобы не расплескать редкое состояние душевного покоя, такое кратковременное в его изломанной градусом жизни.

– Устал, что ли? – Танька точно почувствовала его настроение, остановилась. – Ну давай подождем. Постоим, подышим.

Она говорила с ним, как мать с ребенком.

– До чего ж вы, мужики, народ хлипкий, – посетовала Егорова и поволокла Илью к детской площадке, засыпанной снегом. – Иди за мной, – приказала она ему и стала старательно утаптывать тропинку, в конце которой их ждал не очень-то гостеприимный, но все-таки уют в виде деревянного стола и двух лавок.

Смахнув снег, Танька постучала по скамейке ладонью:

– Ну чё ждем? Садись.

Илья послушно опустил и, засунув руки в карманы куртки, поежился.

– Замерз? – тут же заволновалась Егорова и начала похлопывать Рузвельта то по плечам, то по спине. В ответ Русецкий поморщился: такая активность начинала раздражать, но Танька снова уловила настроение друга детства и заворчала по-хозяйски: – Ничё, потерпишь!

Рузвельту стало стыдно. Он охотно верил, что Танька руководствовалась самыми добрыми побуждениями, и, наверное, в любой другой ситуации ее забота была бы ему приятна. Но как объяснить ей, что сейчас, в данную минуту, ему хочется покоя, по-ко-я и тишины?!

– Ну как? – отступилась Егорова и, подготовив место для себя, уселась напротив, зачем-то нарисовав указательным пальцем крест на покрытом снегом столе.

Это действие Илья растолковал как проявление внутреннего нежелания чистить стол голыми руками и рванул помочь, но Танька его остановила:

– Не трогай, не помешает.

Какое-то время посидели в полной тишине. Егорова буровила Русецкого цепким взглядом, а тот в ответ улыбался, как блаженный. Теперь его уже не смущало Танькино присутствие: она оставила его в покое, перестала трясти, разговаривать. «Что может быть лучше?!» – радовался Илья, не чувствуя холода. Не мерзла и Егорова, то и дело сдвигавшая свое норковое достояние на затылок: берет ей явно мешал, она ощущала его чужеродность и купила, подавшись на уговоры подруг и мужа, напоминавшего, что такой должен быть у всех нормальных женщин ее возраста. Самой Таньке вполне хватило бы невесомого капюшона спортивной куртки: захотела – надела, захотела – сняла. В свои сорок восемь лет она научилась ценить в одежде легкость и комфорт. А вот респектабельность... Этого она не понимала, невзирая на то, что в шкафу в качестве признака достатка пряталась норковая шуба. «Не по мне это все», – в очередной раз мысленно «взвыла» Егорова и в который раз за сегодняшний вечер оглядела Илью.

«Постарел. Рот беззубый. Куда дел, неизвестно. Неужели выбили? А может, не лечил просто... – составляла она внутренний протокол осмотра. – Куртка с чужого плеча, заплатки прямо по верху, сам, наверное, не женская рука... Рукава длинные, пальцы еле видны, грязь под ногтями... Пьет много, губы подрагивают, тени под глазами и белки в красных прожилках... Бомж? Нет, не бомж», – беззвучно сама себе ответила Танька и поинтересовалась:

– Один живешь?

Рузвельт молча кивнул.

– А жена? Бросила?

Жены у Ильи отродясь не было. После смерти матери на женщин он смотрел только в одном-единственном ключе – как на источник помощи, поэтому их возраст не имел для него абсолютно никакого значения, важным он считал только то, насколько бережно они относятся к его личному пространству. Означало ли это, что женщин в жизни Рузвельта не существовало? Вовсе нет. Помнится, терлись об него какие-то, разбитные, уродливые, податливые («обладательницы девственных мозгов» – снисходительно называл их Русецкий), но только вначале, пока был еще им интересен. А потом – с утратой квартиры – на тусклый свет его бедного жилища никого, кроме боевых подруг-однодневок, не влекло. Приходили они, как правило, в сопровождении товарищей, дурно пахнущие, похожие друг на друга, как будто лепили их по одному лекалу – обветренные лица и руки, растрескавшиеся губы, чуть выдвинутые вперед, характерно припухшие подглазья, пастозная одутловатость щек, худые мятые шеи и вязкая речь. Относиться к ним как к нормальным женщинам было невозможно, вопрос о женитьбе отпал сам собой. Да что и говорить, все вопросы рано или поздно оказывались снятыми с повестки дня, и сама повестка дня скоро оказалась сведена к двум пунктам: ночь простоять – день продержаться.

– И чё ты молчишь? Один, что ли? – продолжала допрос Егорова, все так же не сводя глаз с Рузвельта.

– Один, – подтвердил он, а потом, чуть помедлив, выложил руки на покрытый снегом стол. Под ладонями начало таять. – Смотри. – Илья поднял руки. – Здорово, да?

Танька нахмурилась:

– Ну что? – Лицо ее приобрело серьезное выражение. – Будешь рассказывать?

– А что рассказывать-то?

– Как докатился до такой жизни, – полушутя-полусерьезно подсказала Егорова и приготовилась слушать. Но Русецкий не успел вымолвить и слова – на детскую площадку откуда ни возьмись выскочила немецкая овчарка и громко залаяла.

– А вот и гости, – радостно поприветствовал ее Илья, но явно без взаимности: шерсть у собаки на загривке поднялась дыбом, она глухо рыкнула и оскалилась.

– Чья собака? – Танька завертела головой по сторонам.

– Моя. – На площадку шагнул хозяин, приземистый мужик в спортивных штанах и расстегнутых ботинках. Такая экипировка означала, что выгул собаки не обещал быть долгим – так, справить нужду, не больше. В руках у хозяина была обледеневшая палка, не поводок и не намордник. – А что?

– Детская площадка – не лучшее место для выгула собак, – строго произнесла Егорова, не сводя глаз с собаки, усевшейся возле Рузвельта – она как будто сторожила его.

– А ты кто такая, чтобы мне указывать? – Мужик подошел поближе и, шумно втянув воздух ноздрями, глумливо произнес: – Набухалась, что ли, вонючка кудлатая?!

– А ну проваливай! – спокойно ответила ему Танька, не вставая с места, и мужик оторопел: какая-то алкашка, как он думал, осмелилась ему перечить.

– А ты не боишься, сука, что я на тебя сейчас собаку натравлю? И на твоего собутельника тоже?

– Только попробуй, – по-прежнему спокойно проронила Егорова, продолжая смотреть на периодически оскаливающую зубы овчарку.

– Тань, не надо, не связывайся, – попытался предостеречь ее Илья, на себе испытавший, что может последовать за этой перепалкой: зубов и так уже осталось наперечет, а сломанными руками и ногами его было не удивить. Собаки, правда, еще не драли, но предположить, что это не очень-то приятно, он вполне мог.

– Помолчи, – бросила ему Егорова и поднялась со скамейки: маленькая, она смело вышла навстречу врагу и практически по слогам проговорила: – Если вы сейчас не возьмете собаку на поводок, я буду вынуждена принять свои меры.

Мужик нагло зареготал и подозвал собаку, но только с одной целью – рывкнуть долгожданное «фас», чтобы вдоволь налюбоваться, как два пропитых алкаша будут драпать отсюда со всех ног.

– Я повторять не буду, – пригрозила ему Танька и сделала вперед еще полшага, не отводя глаз от агрессивно настроенной собаки.

– Я тоже, – пообещал ей мужик, а дальше все пошло не так, как должно: псина тоненько взвыла – именно взвыла, а не рывкнула, беспомощно оглянулась на оторопевшего хозяина, застывшего с открытым ртом, и легла на снег, послушно вытянув передние лапы.

– Фас! – заорал мужик, но овчарка не двинулась с места, покорно положив морду на лапы. – Фас, я сказал! – повторил ее хозяин, но собака, тоненько повизгивая, метнулась к подъезду, откуда имела неосторожность выскочить на улицу.

– Сам уйдешь или повторить? – Голос Егоровой звучал глухо, словно из подземелья, глаза посверкивали недобрым огнем.

– У-у-у, шалава! – прошипел посрамленный враг и, в сердцах отбросив палку, покинул детскую площадку, не прекращая бормотать проклятия.

Илья оцепенел.

– Что ты сделала? – только и сумел он вымолвить.

– Так, суетила кое-что. – Танька была немногословна. – Пойдем, что ли, до дома тебя провожу, а то того и гляди от собак придется отбиваться.

Русецкий поднялся, как по команде, и послушно двинулся за Егоровой, забыв о том, что логичнее было ему проводить женщину, а не наоборот.

Через какое-то время Рузвельта начало заметно потряхивать, но озноб не имел ничего общего со знакомым ему физиологическим состоянием. Да и рановато было испытывать подобные ощущения, в чем-чем, а в этом Илья ошибиться не мог, многолетний опыт был тому порукой. Вместе с тем его не покидало ощущение, что происходит нечто странное: перед глазами всплывала знакомая асфальтированная дорожка, обрамленная кустами цветущей сирени, он даже чувствовал этот запах, навстречу ему плыло женское лицо с перевернутыми запятыми... Это был его сон, он узнал его, и уже ждал волны сердцебиения, и, прищурившись, смотрел вперед, ожидая увидеть знакомую женскую фигурку, но ничего не происходило, а сердце билось ровно, не проваливаясь в холодный пустой живот и не отдавая в ноющее плечо. Русецкий покоился на бредущую рядом Егорову и чуть не заплакал: стало безумно жалко потерянных лет.

– Слушай, Танька, а почему мы с тобой ни разу за все это время не встретились?

– Это ты так думаешь, – улыбнулась Егорова. – Вспомнил? Нет?

Рузвельт не понимал, о чем она его спрашивает. Может быть, сон рассказать? Про сирень, глаза-запятыя, про крошечную женскую фигурку в просвете тополиных стволов... Женская фигурка... Танькина это фигурка, понял Илья, поэтому сердце и успокаивалось. Значит, права? Значит, виделись?

– Я, между прочим, о тебе всегда помнил... – Соврав, Русецкий даже не поморщился, ему и правда сейчас казалось, что помнил Егорову всегда, зато она громко шмыгнула носом и скрипуче рассмеялась:



– Да ладно тебе, не свисти!

– Правда, – с азартом бросился Илья разубеждать Таньку, но быстро остыл, почувствовав неловкость. – Иногда, – добавил он. – Во сне.

– Вот так и говори. – Егорова, похоже, осталась довольна. – Давно у тебя подселенец-то?

Рузвельт вытаращил глаза:

– Какой подселенец?

Первым делом Илья подумал о своих соседях – марийцах из Йошкар-Олы, с которыми последние десять лет он делил трехкомнатную квартиру в доме, безрезультатно дожидаясь сноса. Олюш и Айвика, которых Русецкий считал бездетной супружеской парой, на поверку оказались братом и сестрой, состоявшими в гражданском браке. Об этом Илья узнал случайно, благодаря подобранному на улице товарищу по несчастью, по иронии судьбы тоже оказавшемуся марийцем. Он говорил о соседях Русецкого неодобрительно, с осуждением, грозил им карой божией, потому что те нарушили Закон. Какой именно, Илья уточнить не догадался и своего отношения к Айвике и Олюшу не поменял, скорее наоборот – люди, способные противостоять устойчивым стереотипам, всегда вызывали у него уважение. К тому же он видел, как жили эти двое – замкнуто и тихо, гостей у них сроду не бывало, а его громогласных товарищей марийцы словно не замечали. Олюш только печально покачивал головой, глядя вслед собутыльникам Рузвельта. Иногда, правда, к Айвике приходили какие-то женщины, часто со своими продуктами – то яйцами, то рыбой, то бутылкой подсолнечного масла. Заходили в дом, шептались в прихожей и робко шли за хозяйкой в одну из комнат, откуда потом слышались непонятные Илье слова, часто сопровождающиеся всхлипами, а подчас и рыданиями.

«Колдуит», – тревожно прошептала Русецкому старая Вагиза, на православную Пасху притащившая бедовому соседу крашеные яйца. Дом был интернациональным, жила она в нем всю жизнь и привыкла с уважением относиться ко всем религиозным праздникам.

– Не о том думаешь, – заявила Танька, как будто отслеживавшая движение его мыслей. – Твой дом?

Дом действительно был Русецкого: вот они, три этажа, обляпанные застекленными балконами, набитыми старыми досками, фанерными листами, банками да коробками. Илья никогда не видел, чтобы за прозрачными стенами этих уродливых конструкций росли цветы, людей за ними тоже никогда видно не было, возможно, по вполне банальной причине – просто некуда ступить.

Самому Рузвельту балкон достался без остекления, да и выносить на него было нечего – если только зимой остатки еды, потому что холодильник был давно продан местному лавочнику по имени Иссаметдин за какие-то копейки. Пару раз в год, когда распускались тополя или начинали зацветать липы, Илья выносил на балкон единственную табуретку, садился подальше от чугунного ограждения и судорожно вдыхал, с наслаждением вспоминая пастернаковские строки: «Так, воздух садовый, как соды настой, шипучкой играет от горечи тополя...»

«Господи! – подумал Рузвельт. – Какая красота! Никому не нужная, разбросанная по тысячам томов, пылящихся в городских, районных и домашних библиотеках. Подаренная миру истина, растасканная на цитаты для красного словца...»

– О чем думаешь? – Егорова, так и не дождавшись ответа от Русецкого, тронула его за плечо.

– Мой, говорю, дом. – Илья быстро включился в разговор. – Зайдешь?

– А чё я там у тебя не видала?

– Ну этих, подселенцев моих...

– Ну на них и смотреть необязательно, – зевнув, заявила Танька, а Русецкий повторил приглашение:

– Может, поднимешься?

– Не знаю даже. – Неожиданно Егорова смутилась. – А это удобно?

– А что неудобного-то? Зашла к бывшему однокласснику на чай.

– Не, не могу... Давай потом.

– Еще через тридцать лет? – с грустной иронией уточнил Илья.

– Зачем через тридцать? – Танька вдруг стала очень серьезной. – Завтра. А то, что я сегодня с пустыми руками...

«Не придет, – помрачнел Рузвельт. – Пообещает и не придет»

– Я приду, – тихо произнесла Егорова, после чего Илье в который раз за вечер стало не по себе. «Как она это делает?» – удивился он, отметив, что та словно читает его мысли. – Сказала – приду, значит, приду.

Рузвельт улыбнулся ее словам, уловив знакомую Танькину интонацию – «Приду – значит, приду». Он помнил ее по школе, по занятиям физикой в библиотеке, по немногочисленным прогулкам по городу. Теперь Илья был на сто процентов уверен: раз пообещала, значит, сделает.

– Может быть, я все-таки тебя провожу? – Ему не хотелось расставаться с Егоровой.

– Еще чего! – возмутилась Танька и фактически втокнула его в подъезд.

Втолкнула и, не отрывая глаз от двери, пару раз выдохнула. Постояла еще немного, подождала и, перекрестив дверь, побрела прочь, не разбирая пути. Пот лил с нее градом, ноги казались свинцовыми, но тем не менее Егорова улыбалась, потому что, как она сама говорила, «что-то сустрйоила» и «что-то вышло».

Эта манера говорить загадками показалась Русецкому невероятно притягательной. Сбросив куртку прямо у порога, Илья, не разуваясь, подошел к кровати и брякнулся на нее со всего маху. Давно ему не было так хорошо, так спокойно и радостно. Впервые за много лет качество прожитого вечера определялось не количеством выпитого, а ценностью состоявшейся встречи. Словно и не прошло тридцати с лишним лет: с чего начали, тем и закончили. А может, наоборот: чем закончили, с того и начали.

Рузвельт покачивался на кровати и рассматривал потолок, постепенно погружаясь в дрему. А если и не в дрему, то в какое-то странное состояние, при котором он вновь «видел» перед собой узкую асфальтированную дорожку и шел по ней, а потом недобро сверкнули две перевернутые запятые и появилось ощущение, что внутри зашевелился еще один Илья, или не Илья, а кто-то Другой. И стало тесно, заломило плечо, заныла грудь...

«Ужас какой!» – задыхаясь, вынырнул Русецкий из забытья, с трудом поднялся с кровати и бросился к балкону. Впрочем, бросился – это слишком громко сказано, еле дотащился, тяжело переставляя ноги. Отодвинув шпингалет, Илья выглянул на улицу – снегопад закончился, стало морознее. Илья с опаской подошел к балконному ограждению и остановился. Мучительно потянуло вниз. «А что? Одно-единственное движение – и всё! Полная свобода. В первую очередь от себя самого», – подумал Рузвельт и перевесился через перила. «Говорят, земля манит», – вспомнился ему штамп, используемый сочинителями в описании самоубийц. «Ерунда это все», – ухмыльнулся Русецкий и посмотрел в ту сторону, куда, показалось ему, должна была направиться Танька. И каково же было его удивление, когда перед ним предстал негатив того самого сна, который он видел время от времени.

«Чертовщина какая-то!» – пробормотал Илья и потер глаза – негатив остался, а вместе с ним и ощущение, что сейчас в просвете между двумя огромными тополями появится крошечная женская фигурка... Но как Русецкий ни вглядывался старательно в даль, ничего не изменилось, только стало очень холодно. Поэтому, вернувшись в комнату, он подобрал брошенную у порога куртку, надел ее и снова улегся на кровать, представляя, как завтра к нему войдет Егорова, сядет к столу... «К какому?» – сообразил вдруг Илья: никакого стола не было, вместо него последние полгода использовался широкий подоконник, заваленный недочитанными книгами, неоплаченными коммунальными счетами, заставленный давно не мытыми стаканами... Илье стало неловко, но вместо того, чтобы привести комнату в порядок, он уткнулся

в подушку и долго лежал, прокручивая в памяти сегодняшнюю встречу с Егоровой, сцену на детской площадке. Еще он попытался вновь погрузиться в пьянящее состояние легкой дремы, вместе с которым всплывают интригующие фрагменты знакомого сна, но безуспешно. Вместо знакомых кадров привиделось вообще что-то странное: на какое-то мгновение Рузвельту показалось, что он краем глаза видит человека, пересекающего его комнату. Только это был не совсем человек, а скорее его бледная копия, лишенная естественной плотности, но при этом она передвигалась в пространстве точно так же, как все обычные люди.

«Чушь!» – потряс головой Русецкий и широко раскрыл глаза: комната была пуста, под потолком неровно – видимо, от перепадов напряжения – горела лампочка, свет был мутным и вязким, словно незастывший воск. Илья знал, что с ним все в порядке, что сознание у него сохранно, так как выпитого сегодня явно недостаточно для возникновения делирия. Тоска сжала сердце Русецкого с такой силой, что тот чуть не заплакал: «Что происходит?» На первый взгляд ничего особенного, из ряда вон выходящего, но тем не менее что-то происходило, просто оно не имело названия и не определялось словами.

В метаниях прошла ночь: Илье становилось то жарко, то холодно, то страшно, то смешно, его то мучила жажда, то мутило. Но он был уверен, что это странное состояние не имеет ничего общего с похмельем, это была какая-то другая болезнь, прежде ему неведомая. Надо ли говорить, что Русецкий поджидал утро с таким нетерпением, с каким нечистая сила прислушивается к пению петуха. Однако, как ни подгонял Рузвельт рассвет, тот все равно наступил неожиданно. «Значит, спал», – решил Илья, блаженно вытянувшись на кровати. Исчез ночной морок, а вместе с ним и странное ощущение присутствия в доме чужого человека. Русецкий снова заснул.

Так же, как и Илья, практически не спала в эту ночь и Танька Егорова, бродившая по квартире, как призрак, к неудовольствию мужа и черного кота Кузи, периодически подававшего голос с кухонного пенала, откуда независимое животное наблюдало за передвижением вверенных ему «человеков». Кузя был в доме главным, это признавала даже Танька, мотавшаяся на рынок за каким-то особым видом кильки-тюльки, потому что все остальные сорта рыбы кот решительно отвергал.

– У-у-у, зараза, – ворчала Егорова, обнаруживая в разных местах квартиры тщательно запрятанные рыбные останки, но стоило мужу замахнуться на «этого паразита», как она тут же вставала на защиту кота.

– Я его кастрирую, – обещал супруг расправиться с «дармоедом», но спустя какое-то время менял гнев на милость и собственноручно открывал Кузе форточку, чтобы тот мог отдаться зову природы. Через дверь кот дом никогда не покидал, только поверху, благо жили на первом этаже.

Между прочим, кота Танька ценила не только за его свободолюбивый нрав, но и за особую чувствительность. Спал он исключительно у Егоровой в изголовье и ложился туда, как правило, только когда ей требовалось освободиться от «нахапанной» энергетики тех, кого лечила. По реакции кота Танька распознавала тайный умысел человека, пришедшего в дом. Бывало, Кузя бросался на ноги визитерам или шипел, забившись под кресло. Если же кот не покидал своего облюбованного места на кухне, все было нормально. Вот и сейчас, свесив передние лапы с пенала, он преспокойно поглядывал на расхаживающую в темноте хозяйку, пока та не зажгла свечу и не присела.

Мерцающий в темноте огонек привлек внимание кота, тот спустился со своей верхотуры и уселся на подоконнике.

– Не спишь? – спросила у него Танька и забормотала слова молитвы, чей текст не имел ничего общего с каноническим. Больше это напоминало народное православие, в котором можно было обнаружить приметы заговоров на случай: «Иисус Христос впереди, Богородица

– позади, Ангелы-Хранители – по бокам, что будет им, то будет нам, они помогут нам...» и так далее.

Безусловно, периодически Танька читала то Символ Веры, то «Богородице, дево, радуйся...», то «Отче наш...», но знахарского в ее речах было ничуть не меньше, и досталось оно ей от мамы-покойницы. Малообразованная женщина, родившая семерых, обладала тайным знанием, позволявшим сохранить жизнь собственным детям, оградить их от дурного глаза. Все она делала с молитвой: замешивала ли тесто на пироги, варила ли обед, запускала ли в кипяток яйца, готовила ли дом к Пасхе... А еще, помнила Егорова, мать умудрялась использовать для лечения все, что попадалось под руку: землю, кору, голубиный помет, не говоря уж о разных травах. В них мать разбиралась и ее, Таняту, научила. Не сразу, а постепенно передавала она дочери знания об окружающем мире, неспешно объясняя, откуда что берется. Многого девочка не понимала и, возможно, дар, перешедший ей от матери, никогда бы не освоила, если бы не знала, что дан он на благо. «Не просят – не делай. Попросили – помоги. Дадут – возмешь, не дадут – делай просто так, по-человечьи, по-божески». В сознании Танькиной матери человек и Бог легко уживались рядом. Последний был как член семьи, просто рангом постарше. И с ним вполне можно было договориться, главное – соблюдать правила. И первое из них – «молчи, раз не спрашивают». Главное правило, можно сказать, золотое. Иначе – прямая дорога в психушку, об этом мать Таньку предупредила, как только та поделилась своим открытием.

Злосчастная физика. Точнее – учитель, худой, перекошенный на один бок. Глядя на него, Егорова забывала собственное имя. И это понятно: не дай бог увидеть то, что открывалось ее взору. Егорова весьма приблизительно представляла, как выглядят человеческие органы, но уже тогда понимала, что чернота, разлившаяся внутри этого человека, – свидетельство неминуемой смерти. От недели к неделе темнота внутри учителя становилась все более концентрированной, и, когда тот не вышел на занятия, Танька поняла: он никогда больше не вернется, потому что с этим ничего поделать нельзя.

О своих открытиях Егорова рассказала матери не сразу, да та ее и не торопила, потому что понимала: дочь должна привыкнуть к новому состоянию. И только когда мать обнаружила Таньку блюющей возле забора, она поинтересовалась, не «спорола ли та чего лишнего». Немногословная Егорова расплакалась и поведала матери о болезни учителя и о том, что она видит внутри его тела.

– Никому об этом не рассказывай, Танята, – предупредила ее мать и с трудом удержалась от жалобы Всевышнему: зачем, мол, девчонку на такой путь поставил? Разве меня мало? Она знала, о чем говорила, и не хотела для своей дочери тяжелых испытаний, ибо понимала: за дар придется заплатить, и не исключено, что ценою больших потерь. «Матушка Владычица, Пресвятая Богородица, сохрани мою девочку от несчастий, болезней, от злых людей!» – взмолилась она и погладила Таньку по голове: знакомый жар полыхнул в ладонь, волосы у девочки были мокрыми от пота.

– Не буду, – пообещала ей дочь и слово свое сдержала, даже Илье, соседу по парте, ни слова не сказала. – «Думай что хочешь», – через силу улыбалась она ему и с легкостью щелкала задачку за задачей по физике во время их занятий в библиотеке.

Русецкий ей нравился, но не так, как нравятся мальчики девочкам, по-другому. Видела она в нем человека несчастного, невзирая на громкий список его побед в любой отрасли знаний. Все прочили Илье путь прямой и широкий, а Танька знала: никуда по этой дороге он не дойдет. Не будет ее, этой дороги, что-то помешает, только что? Она хотела предупредить Рузвельта, но не знала, как это сделать, кроме условных «я чую», «мне ведомо», ничего в голову не лезло, а уговорить Русецкого поверить в то, чего в природе вроде бы и не существует, казалось ей невозможным.

Рядом с Ильей Егорова испытывала странное чувство: с одной стороны, было ей весело и легко, с другой – зябко, тянуло каким-то странным холодом. Но исходил он не от него, сам Русецкий был на ощупь жилистым и теплым, кровь бурлила в нем, как фонтанчик в городском парке. Она хотела спросить об Илье у матери, но опасалась услышать правду, почему-то ей казалось, что правда обязательно окажется не в его пользу и ничего нельзя будет исправить, получится так же, как с учителем физики. Возможно, поэтому Танька так и не решилась пригласить Рузвельта домой, было страшно представить его матери. Но та словно почувствовала и ответила на немой вопрос:

– Нельзя тебе с ним. Заказано.

Егорова вздрогнула:

– Почему?

– Разве ж я знаю, – пожала плечами мать, раскатывая тесто на пироги, а потом согнулась вдвое и пожаловалась на боль «в середине». – Подержи руку-то, – попросила она Таньку и повела ее за собой в крохотную спальню, которую когда-то делила с мужем, прожившим короткий мужицкий век и запомнившимся детям привычным окриком: «А ну, анафема тебя в бок!» – Посиди со мной. – Голос у матери разом стал тихим и слабым.

– Может, доктора? – запаниковала Танька, но та быстро ее успокоила:

– Когда дело божье, не до докторов. Послушай лучше...

Так буквально в три дня Егорова приняла от матери немудреную науку помощи людям, которую усвоила на всю жизнь, и ни разу не пожаловалась на страшную цену, которую за нее заплатила. Схоронив мать, Танька осознала, что откуда ни возьмись в ее памяти осели неведомые ей раньше слова, – много слов, за всю жизнь не выучишь, – но она их знала. И дело с концом.

Илье о смерти матери Егорова почему-то не сказала ни слова. А он, похоже, и не заметил ни Танькиной грусти, ни воспаленных глаз, ни болезненной худобы.

Целый год Танька проучилась на расстоянии от Русецкого. Прежде внимательный к ней как к сестре, он вдруг отдалился, пересел на заднюю парту и будто забыл о ее существовании. Егорова не задала ни одного лишнего вопроса, потому что помнила: «Нельзя тебе с ним. Заказано». «Нет так нет», – решила Танька и попыталась выбросить Илью из головы. И вроде бы получилось, но время от времени она вспоминала их «Эм и Жэ держали землю на вожже», и ей становилось грустно. Грустно от невысказанных слов, от непережитых встреч и от невозможности стереть это «Нельзя... Заказано».

Егорова не виделась со своими одноклассниками целую вечность. За это время она успела окончить техникум, выйти замуж, какое-то время поработать на заводе во вредном цехе, надышаться там свинцовым припоем, но это не помешало ей родить двух девчонок и в девяностые годы перекроить свою жизнь заново: уйти из профессии, отделиться от дурковатой свекрови с замашками сельской царевны, сесть за руль истерзанного многочисленными владельцами «Мерседеса» и заявить о себе как о потомственной целительнице. «А чем не потомственная-то?» – рассудила Егорова и храбро пустилась в путь, суливший ей новый уровень благосостояния, зависевший теперь не от выработки на производстве, а от нее самой. Правда, для этого нужны были документы о так называемых экстрасенсорных способностях, но за ними дело не стало. Танька рвалась к тайным знаниям с остервенением, колесила по стране, занимая в долг, перебиваясь разовыми заработками, училась у Гробоного, у Джуны, активно посещала сборища магов и колдунов, пафосно называемых «съездами целителей» или «симпозиумами по нетрадиционной медицине». Егорова бесстрашно шла на контакт с любым, кто мог приоткрыть для нее завесу над новой профессией, отсутствующей в официальном перечне специальностей, известных в нашей стране.

Очень скоро Танька поняла, что людей, наделенных исключительными способностями, не так уж много. Зато шарлатанов хоть отбавляй, авантюристов везде хватало. Они смело

открывали кабинеты, салоны, центры нетрадиционной медицины, громко именовали себя целителями, но на деле все были заняты только одним – сбором денег. Егоровой, разумеется, тоже хотелось разбогатеть, но она так и не смогла забыть материнский наказ и цену за свои услуги называла символическую, ну, например, «сколько дадите». За эту склонность к благотворительности товарищи по цеху стали посматривать на Таньку с опаской, но те, кто похитрее, активно приглашали ее присоединиться к ним, понимая, что работает та в честную, а значит, рано или поздно клиентов станет хоть отбавляй. Егорова по наивности не сразу догадывалась, каковы истинные намерения ее коллег, и соглашалась на сотрудничество, вытягивая своими трудами общую кассу. А когда наконец приходила к выводу, что ее откровенно используют, уходила по-английски, не прощаясь, не выясняя отношений и соответственно не требуя выплат за проведенное лечение.

После нескольких подобных случаев Танька все-таки решилась работать самостоятельно и надумала открыть собственный кабинет. Но как только перед ней встал вопрос лицензирования, она растерялась. «Поможем», – с готовностью пообещали ей сотрудницы облздравотдела, обращавшиеся к ней по любому поводу – «дорогу открыть», «порчу снять», «детей на путь истинный наставить». Слухи о Егоровой ползли по городу с молниеносной скоростью, желающих «помочь» становилось все больше. Но вместе с ними рос и поток страждущих, щедро вываливавших на Таньку свои страхи, болезни, неудачи и горести. Так незаметно она перестала принадлежать себе и своей семье.

Все чаще и чаще Егорова ловила себя на мысли, что живет чужой жизнью, устраивает чужие судьбы, разгребает чужое дерьмо. «Я как пылесос», – грустно подшучивала над собой Танька, не отваживаясь пожаловаться мужу на то, как устала, как болят руки, темнеет в глазах и кружится голова. «Надо, надо, надо», – продолжала она бороться с привычной ненавистной нищетой и одерживала победу за победой. Вот наконец-то своя квартира, вот море, дача, но почему-то легче так и не стало. Неожиданно выскочила замуж старшая дочь, не дождавшись положенных восемнадцати. Вторая, похоже, готовилась последовать примеру сестры. «Жить торопятся», – грустила Егорова, не понимая, что не жить торопятся ее девочки, а побыстрее вырваться из родительского дома хотят, до того им это общежитие обрыдло: и днем и ночью чужие люди, и это при том, что был у матери свой кабинет, вечный запах ладана, треск свечей, завернутые в тетрадные листки ржавые иголки, булавки, глиняные черепки, шерстяные спутанные косички...

Ко всему прочему Егорову часто томило дурное предчувствие: все ждала – что-то случится, причем обязательно со своими. Так и произошло. А все потому, что доверилась людям и нарушила непреложный закон, да еще и с Божьим именем. А все эта жалость, всегда в ущерб себе! Привели девушку, по виду ровесницу старшей Танькиной дочери, беременную, рожать нельзя из-за порока сердца, не выдержит. Мать на коленях стояла, молила помочь, избавить от ребенка, просила дочь сохранить.

– Какой срок? – Егорова эту тему не любила, да и мать строго-настрого наказывала никогда подобным не заниматься, потому как за такой грех отвечать придется. И надо отдать должное Таньке – соблюдала материнский завет безукоризненно. А тут надо же – нечистый попутал. Переспросила еще: – Точно такой?

– Точно!

Оказалось, все не так: и срок гораздо больше указанного, и никакого порока сердца у девицы отродясь не бывало. Точнее, порок-то имел место, не исключено даже, что не один, но среди них сердечного не было. В общем, всеми правдами и неправдами, но Егоровой удалось поспособствовать освобождению от нежелательной беременности шестнадцатилетней дуры. Невзирая на клятвенное заверение держать язык за зубами, слух о том, что существует способ, позволяющий избавиться от побочных эффектов плотского греха, да еще и безоперационно, разнесся по городу с молниеносной скоростью. Благодаря этому к Таньке выстроилась целая

очередь жаждущих, к чему, надо сказать, она не была готова. «Нет, нет, нет и еще раз нет», – возопила Егорова и на какое-то время осталась без клиентуры, что тут же отразилось на состоянии семейного бюджета.

«Будет день – будет и пища», – успокаивала себя Танька, но автоматически готовилась к броску, ждала удара. И тот не заставил себя ждать: первая беременность дочери закончилась выкидышем, вторую ждала та же участь.

– Я что, вообще не смогу родить? – пыталась ее старшая, и Егорова, отводя глаза в сторону, привычно покрикивала:

– Давай, поговори у меня еще! Не сможет она родить! Сможешь! – говорила, а сама не очень-то верила, что получится, потому что видела: внизу живота шевелился темный клубок. «Перевязано», – вздыхала Танька и каждый день просила Богородицу пожалеть дочь, пока не поняла, что просить надо о прощении. «Виновата!» – каялась Егорова и словно искала для себя нового испытания в надежде «отработать» грех добрым делом.

Вселенная быстро откликнулась на ее запрос: привели ребенка с опухолью. Врачи сказали, неоперабельный, и отпустили домой умирать. «Не жилец», – поняла Танька, но приезжих не отпустила, сказала, попробует, но ничего не обещала. Она работала с этим мальчишкой несколько месяцев, день за днем отчитывая его, его родителей, всех родственников до седьмого колена. Иногда Егорова просила отца мальчика вывезти ее за город и бродила там часами в поисках травы, о которой если и было что-то известно, то только то, что она ее «почувствует». В итоге траву она так и не нашла, да она и не понадобилась: неизвестно, почему рост опухоли замедлился, и врачи решили оперировать, сославшись на какую-то капсулу, о чем сбивчиво поведали Таньке родители мальчика.

«Стянула, значит», – улыбнулась она себе под нос, а утром не смогла подняться с кровати. «Помирает», – ахнул про себя супруг, но вызвать «Скорую» Егорова не разрешила так же, как в свое время ее мать: «Божье дело... Какая уж тут «Скорая»?»

Несколько дней Танька ничего не ела, только пила святую воду, от всего остального ее выворачивало черной жижей. Егорова стала похожа на египетскую мумию из учебника истории: кости и отлакированная веками кожа. Несколько раз Танькина душа взмывала под потолок и следила оттуда за жалким трепыханием немого тела, раздумывая, вернуться к нему или нет. И всякий раз возвращалась: жалко было бросать это, пусть и недолговечное, прибежище. Ощущение, что жизнь возвращается к ней, Егорова испытала, когда безудержно захотелось соленой рыбы. Рыбы и пива.

– С ума сошла?! – возразил муж, заподозрив, что слышит Танькин бред, но спорить не стал: а вдруг и правда последняя воля, тогда отказывать нельзя.

Пиво Танька только пригубила, рыбный плавник вывернула и долго держала во рту, причмокивая. Все последующие сутки она спала, а еще через день отказалась от кабинета и объявила о прекращении своей деятельности. Она поняла, что в следующий раз может просто не восстановиться.

– Вот и хорошо, – поддержали ее близкие, наивно полагая, что та сдержит свое обещание, ограничившись безвозмездной помощью родным и друзьям. Егорова тоже так думала, но был и ТОТ, кто «думал» иначе. Точнее – располагал. И воле ЕГО Танька подчинялась неукоснительно, только теперь происходило это не конвейерным способом, а от случая к случаю, как она любила говаривать, «по спросу-запросу». Поэтому Егорова никогда не бралась за лечение, если не получала благословения свыше.

На Илью оно, кстати, тоже было дадено. О том, что они с Русецким встретятся, Танька знала всегда, именно поэтому она с такой готовностью приняла предложение прийти на встречу с одноклассниками, хотя их коллективный образ давно стерся из ее памяти. А вот Илья, похоже, застрял там навечно. Егорова знала, что жизнь у него не сложилась, но в глубине души продолжала надеяться на то, что, может, все обошлось, попались ему на пути добрые люди,

способные протянуть руку помощи... Надеялась, но сама себе не верила, иначе бы не звал, не являлся ночами, не стоял бы у края могилы, озираясь по сторонам: шагнуть – не шагнуть...

«Стой!» – кричала Егорова Рузвельту, пытаясь схватить того за руку, но не могла дотянуться, за Ильей стоял Другой, вязкий, непроницаемый для смертных, и с каждым днем он становился все больше, все сильнее... «Пора», – подгоняла себя Танька, но обязательно что-то не складывалось, не склеивалось. «Не пускают», – вздыхала Егорова и отступалась. Значит, не время. А потом оказалось в самый раз.

Как Русецкий вошел в кафе, Егорова не видела, но то, что он здесь, почувствовала сразу же. Танька нашла его безошибочно: он сидел за дальним концом стола, на отшибе, гость второго сорта, приглашенный из жалости. Еле вытерпела, чтобы не броситься сразу, боялась напугать – столько лет не виделись.

– Узнаешь? – только и спросила она, сделав все возможное, чтобы не задрожал голос от нахлынувшей радости.

– Узнаю, – ответил Илья, и в Егоровой все оборвалось: не узнал, не помнит, забыл, выбросил из памяти, как ненужную квитанцию.

«Не сдамся!» – приказала она себе и отчеканила «Эм и Же держали землю на вожже».

Эту фразу Танька повторяла весь вечер, как заклинание. Она была ее охранной грамотой, пропуском в мир детства, дружбы, а может быть, и первой любви. Или точнее – несостоявшейся первой любви.

Мысли о ней заставили Егорову вспомнить и слова матери, и бегство Рузвельта на заднюю парту, и летний день возле реки, после которого все оборвалось, словно и не существовало. «А ведь мог бы... – подумала Танька, но тут же сама себя остановила: – Не мог. Заказано». Егорова думала, что давно смирилась с этой несправедливостью, а оказалось, что в глубине сердца все еще жила крохотная обида на судьбу, на Илью, да что там говорить – и на себя саму, что не осмелилась, не нашла, не подсказала, не спасла...

«Глупости это все!» – вздыхала Танька, сидя за кухонным столом и уставившись в одну точку. Урчал забравшийся на колени кот, догорала свеча, Егорова ждала рассвета. А он все не наступал и не наступал: время остановилось. Танька просто ненавидела эти минуты, измерившиеся часами, ибо знала: возникают они в исключительных случаях, когда даже наверху точно не знают – к добру ли, к худу ли. Вот и сегодня ей словно давали право выбора: подумай, может, не стоит, может, ну его, жила же без него столько лет и дальше жить будешь...

«Решила уже!» – твердо сказала себе Танька и аккуратно сняла Кузю с колен. Кот неодобительно устался на хозяйку.

– А ну, отвернись! – шикнула на него Егорова и снова посмотрела на часы. «Ровно пять минут до звонка будильника», – молниеносно определила она, открыла дверцу холодильника, и недолго думая, выставила на стол маленькую кастрюльку с отварной рыбой. Кузя наострил уши.

– Жрать хочешь, скотина? – ласково обратилась Танька к коту и потянулась за миской. Кузя снисходительно мяукнул, но предложенную рыбу есть не стал. Пару раз потерся о хозяйские ноги и запрыгнул на подоконник. Егорова послушно распахнула форточку, кот выбрался на улицу.

– Проводила? – послышался у нее за спиной голос мужа, Танька обернулась. – Ты как вчера? Нормально сходила?

– Нормально, – буркнула Егорова, лихорадочно соображая, что можно рассказать о вчерашней встрече одноклассников.

– Где гуляли?

Танька ответила. На этом разговор и закончился. Пока накрывала на стол, с грустью думала о том, что отношения с мужем стали совсем другими, не теми, что раньше. И, возможно, причина не в нем, а в ней, точнее, в ее вечном отсутствии. И вроде бы рядом, и вроде



бы вместе, за одним столом, а на самом деле – мысли далеко, вокруг чужих людей выются, покоя не дают.

«Вроде как между нами всегда стоит кто-нибудь», – вспомнились ей слова мужа. Когда-то они казались ей обидными, несправедливыми, а потом все поменялось. И Танька была вынуждена признать правоту своих близких, абсолютно справедливо упрекавших ее в том, что всю свою жизнь она посвятила чужим людям. «Хотя никто тебя об этом не просил», – выкрикнула однажды старшая дочь, а младшая за ней повторила. И напрасно в тот момент Егорова смотрела на мужа, ища поддержки: ничего не сказал – ни да, ни нет. «Значит, согласен», – догадалась Танька и приняла как должное: в словах близких была своя правда. А у нее? Разве не было?!

«Была! Точнее – есть», – угрюмо пробормотала себе под нос Егорова и, решив не мешать дочери и мужу настраиваться на рабочий лад, ушла в спальню. Ложиться показалось бессмысленным: сна уже ни в одном глазу, но она тем не менее прилегла, постоянно прислушиваясь к тому, что происходит в квартире. Дождавшись, когда щелкнул замок входной двери, Танька вскочила, вывернула заветный ящик комода, достала перевязанные бечевками свечи, две стальных рамки, бумажную икону Спасителя и алюминиевый крестик на шелковой веревочке. Все это Егорова тщательно упаковала, сложила в сумку и вынесла к порогу, так и не сняв ночной рубашки. Начался второй этап сборов. В огромный походный рюкзак Егорова утрамбовала банки с разнообразными домашними заготовками и несколько пакетов с крупами. Туда же отправилось несколько кусков хозяйственного мыла и две снятые с вешалки мужних рубашки. Только потом Егорова отправилась под душ, предварительно натеревшись влажной солью. Под водой стояла долго, словно собираясь с мыслями. Да что там говорить, и с силами тоже.

Из ванны Танька вышла предельно сосредоточенной. Возле зеркала немного подзадержалась, поизучала свое отражение, осталась недовольна, но к косметике не притронулась. «О другом надо думать», – напомнила она себе и проворно натянула спортивный костюм. Перед выходом из дома Егорова застыла перед дверями, задрала голову, перекрестилась на висящий над косяком образ и проговорила: «Вокруг меня круг. Рисовала не я. Богородица моя. Аминь».

С этими же словами Танька вбежала и в подъезд к Русецкому, дом которого нашла не по адресу, а по памяти. И даже если бы та ей отказала, Егорова в любом случае добралась бы до нужного места: *дорога была открыта, разрешение получено*.

Квартиру, в которой проживал Илья, Танька определила безошибочно. Почему-то показалось, что только он мог жить там, куда вела обитая дерматином дверь, скорее всего, сохранившаяся еще с советских времен. Сегодня так со входными дверями уже не поступали. Стремись заказывать стальные, а то и бронированные, с хитроумными замками и устройствами для наблюдения. Не двери, а танки. «Никакого тепла», – вздохнула Егорова, сняла с плеч тяжеленный рюкзак, прислонила к стене сумку и, как школьница, засунула палец в серые потроха утеплителя, видневшегося под изодранным дерматином. Так с воткнутым пальцем и стояла, не решаясь нажать кнопку звонка, возле которого, кстати, не наблюдалось никаких опознавательных знаков, характерных для коммунальных квартир.

Профессиональным взглядом Танька скользнула по обналчке и обнаружила приметы защиты: над дверью виднелся небольшой крестик, напоминающий распятие, венчающее записки о здравии или упокоении. Наконец-то вытащив палец из обивки, Егорова ощупала косяк и снова осталась недовольна: в нескольких местах, где он отходил от подъездной стены, кто-то вставил слепленные из земли шарики. Один такой Егорова выковыряла и тщательно рассмотрела: остатки волос, глина, какие-то жирные вкрапления. От рассыпавшейся по ладони земли потянуло холодом. «Не кладбищенская ли?» – озадачилась Танька и отряхнула руки. Медлить не было смысла, она нажала на кнопку звонка.

Дверь открыла низкорослая женщина средних лет, похожая на откормленную морскую свинку. Это была Айвика. Увидев Егорову, она посторонилась, бесстрастно скользнув по ней взглядом угольных глаз-бусинок, воткнутых под неожиданно светлые брови. Пары секунд Таньке хватило для того, чтобы признать в этой неприметной женщине со стянутыми на затылке паклеобразными жирными волосами коллегу.

– Я к Русецкому, – бодро оповестила Егорова и решительно ступила на порог, проговорив про себя привычное: «Со здоровьем пришла – со здоровьем и уйду».

Морская свинка, не проронив ни слова, махнула в нужном направлении. Танька медлила. Не хотела поворачиваться к Айвике спиной. «Вокруг меня круг...» – снова завела она про себя и мысленно перекрестилась. Свинка зевнула и подалась к себе, в противоположную от комнаты Ильи сторону.

Егоровой стало не по себе: она чувствовала опасность. Но, что интересно, исходила она не от женщины с глазами-бусинками, исходила она от самих стен этого дома. Таньку начало подташнивать. «Ну-ка соберись!» – приказала она себе и вспомнила, что забыла возле двери в квартиру и рюкзак, и сумку с «инструментами».

«Анафема тебя в бок», – проворчала Егорова и, развернувшись, стремительно бросилась к выходу. Слава богу, вещи были на месте. Их караулила старая Вагиза, прожившая здесь всю свою сознательную жизнь. За это время она сумела превратиться в общую для всех бабушку, к которой обращались за советом, которой доверяли святая святых – ключи от дома, когда уезжали в отпуск, с которой делились радостями и горестями. Неслучайно Вагиза была почетным гостем на всех знаковых мероприятиях, начиная от свадеб и заканчивая похоронами и поминками.

– Айда, пошел, сумка забыл, – поприветствовала она выскочившую из квартиры Егорову, нисколько не удивившись новому лицу.

– Рэхмэт. – Танька безошибочно определила национальность Вагизы, та что-то ответила ей по-татарски. – Я не понимаю, я русская, – объяснила Егорова, на что Вагиза, взмахнув рукой, с акцентом произнесла:

– Все русска. И татар тоже русска. Аллах один.

– Бог один, – поправила ее Танька и нацепила на плечи потертый в походах рюкзак. – Русский, татарин... Какая разница?!

– Нет разница, – согласилась с ней Вагиза и шепотом добавила: – Давай там, один, колдуит.

– Видела уже, – не оборачиваясь, пробормотала Егорова и, аккуратно притворив за собой дверь, зашагала по коридору.

Дверь в комнату Ильи была приоткрыта: Танька остановилась, не решаясь войти. Сквозь узкую щель она видела Русецкого: тот лежал на кровати, скрестив руки на животе. «Как покойник», – подумала Егорова и внимательно присмотрелась: грудь его еле заметно поднималась и опускалась. «Спит», – успокоилась Танька и попыталась протиснуться в комнату, не трогая двери. Не получилось: та закрипела – Илья вздрогнул и повернул голову.

– Пришла вот, – смутилась Егорова и сделала пару шагов вперед.

Русецкий, не говоря ни слова, медленно поднялся с кровати и двинулся госте навстречу. Идти было невероятно тяжело, словно под ногами был не твердый пол, а вязкая грязная жижа. Каждый шаг отдавался у Ильи в голове: знакомое ощущение для тех, кто помнит свое самочувствие после того, как спала высокая температура.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.